



Леонид СИМАЧЕВ ● СРОЧНАЯ  
ТЕЛЕГРАММА

РАССКАЗ

Киты появились два дня назад.

Это был чертовски трудный месяц. Мы пропахали всю северную часть океана, изредка натыкались на одиночек, и тогда все оживлялись, думали: а вдруг?.. Но соседи-китобои молчали: у всех было пусто. Значит, опять отшельник... Шли сутки за сутками. У наблюдателей рябило в глазах. Марсовый матрос зло залезал в бочку, а потом казалось, что его там и нет вовсе, до того тягостно он молчал. И погода, как назло, была рабочая: наступили самые длинные дни. На тридцатой параллели, куда мы спустились, стояла нестерпимая жара. Ветра не было, вода синяя-синяя и спокойная, как в болоте.

И вот наконец флотилия «зацепилась», все работали.

Близился полдень. Я сидел в радиорубке, подставив затылок вентилятору. От передатчика и приемника несло жаром. Передал на базу несколько радиограмм и перешел на прием. Уши под наушниками вспотели, и когда я брал чистый бланк, чтобы заправить его в машинку, на нем оставались влажные следы от пальцев.

С самого рассвета мы охотились, очень хотелось спать. В пять часов я проснулся от первого выстрела и по тому,

как затрясся китобоец, загремел, отрабатывая задний ход, понял, что Стас попал и кит на лине. Утром хорошо работалось, все получалось. Того кашалота мы быстро «поставили на флаг», торопились, потому что в миле заметили еще фонтан. Так торопились, что я, когда ставил радиобуй, чуть не забыл его включить. А тут еще марсовый крикнул с бочки, что видит три фонтана. Но мы пошли к тому, которого заметили раньше, он был ближе. И вот до сих пор еще с ним работаем. Очень упрямый и чуткий кашалот. Никак не подпускает на выстрел.

Судно то сбавляло ход (подходили к кашалоту), то, описав круг, замирало (кашалот шел под воду), то, внезапно загрохотав, дергалось, а потом мчалось полным ходом на появившийся фонтан. Снова постепенно сбрасывали ход, и я всем существом хотел наверх, посмотреть: подпустит или нет? Но нельзя было: пальцы стучали по клавиатуре. Я уже принял три радиограммы, все одному имениннику, и вот уже пошла последняя. Это — Стасу.

Машины затихли, и китобоец по инерции двигался вперед. Кит был рядом или уже ушел вглубь. Я подумал о Стасе, что вот ему радиограмма и попадет ли он сейчас?.. Но тут пошел текст, и до того он был неожиданным и страшным, что пальцы у меня отяжелели и словно прилипли к клавишам:

= СЕГОДНЯ ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УМЕР ПАПА = ЖЕНЯ.

Я снял наушники, выключил приемник, потом передатчик. По-прежнему было тихо, — как всегда перед выстрелом.

Я и раньше принимал такие известия. Но сейчас я сильно испугался. Умер человек, которого я хорошо знал. Отец моего лучшего друга.

Крутнув валик машинки, я вынул радиограмму, еще раз прочитал. Попытался представить девятиклассницу Женечку и не смог. Стас сейчас у пушки. И я все еще ждал выстрела...

Мы родились со Стасом через год после войны. Жили в одном дворе рядом с шумной железнодорожной станцией. Летом спали в сарае; сквозь щели в стене пробивались лучики паровозных прожекторов. А по утрам просыпались от резкого клекочущего объявления со станции, что на второй путь прибывает московский пассажирский. Мы наспех одевались и бежали на вокзал искать брошенные пассажирами

пустые спичечные коробки. Искали их на перронах и шпалах, под платформами и у шумных, пахнущих жареной навагой ларьков. Странная эпидемия гуляла в то лето среди пацанов — все собирали спичечные этикетки. Порой находили коробки с редкими еще тогда, блестящими и гладкими, яркими (мы их звали «масляные») картинками и, как правило, дрались, оспаривая: кто увидел первым? От коробок веяло дорогой, красивыми городами, незнакомыми людьми, тонкими духами и не виданным еще, загадочным и уже любимым морем.

В детстве я завидовал маме: она родилась у моря. Отца я не помнил. По непонятным тогда для меня причинам мама о нем не рассказывала. Единственное, что я знал, — он был моряком. Незнакомым людям я врал, что отец утонул. Так что в детстве я был стеснителен и неразговорчив, а в дружбе доверчив и предан. В глубине души я немножко ревновал Стаса к его отцу.

Стаськин батя — Сергей Леонидович — был машинист паровоза. Летом он часто брал нас с собой в поездки. Вернувшись, мы втроем шли в деповский душ. От нас пахло углем, сажей, машинным маслом, едким котельным паром. Нежились под горячими струями и с презреньем думали о городской бане, куда нас каждую неделю отправляли мамыши. Сергей Леонидович присаживался на корточки, ухватывался рукой за стенку кабины и, подставив спину, говорил: «А ну-ка, пехота!» Мы становились по бокам и крепко терли ему рогожками спину. Пена хлопьями летела в стороны, и дядя Сережа приговаривал: «Во-о! Так, так ее...». Когда я был с левого бока, то старался не смотреть ему под мышку: там вдоль ребер тянулся огромный сизый шрам. Когда мыльная пена все закрывала и я, забывшись, натыкался рогожкой на шрам, то, будто ожегшись, отдергивал руку: мне казалось, что дяде Сереже это очень больно. Кожа на шраме была тонкая, прозрачная, как на переспелой сливе. В паху и на бедрах тоже было несколько рваных рубцов. «Это рычагами его так», — говорил мне Стас. В войну дядя Сережа воевал на танке.

В конце августа начинались заморозки. Картофельная ботва была по утрам черной; днем солнце припекало, и ботва становилась коричневой. Открывался охотничий сезон. Дядя Сережа ночевал вместе с нами в сарае, а рано утром уходил на озера, что тянулись вдоль железной дороги, километрах в пяти от станции. Как-то ночью, проснувшись, я

вздрагнул, услышав стоны. Дядя Сережа тихо постанывал. Он спал внизу, и я свесился с настила, но было темно, и я его не видел. Мне стало страшно. Я толкнул Стаса. Он, оказывается, не спал.

— Бать! — тревожно окликнул Стас. — Может, мать позвать?..

— А-а? А, нет. Ничего. Вы это, спите, сегодня рано вставать. А я ничего. Так, что-то приснилось. Пойду воздухом подышу — и все. Спите. Скоро разбужу...

Мы слышали, как скрипят пружины кушетки, как он тяжело дышит, поднимаясь. Потом дверь сарая хлопнула. Было холодно, и я думал: зачем ему воздух, когда и здесь холодно? Я сильнее кутался в одеяло и прижимался к Стасу.

— Мать ночью врача вызывала, — сказал Стас. — Осколок у него в боку. Рядом с сердцем. Вот...

Гудели паровозы, в воздухе ощутимо чувствовался сырой предрассветный туман. Я лежал и думал о войне. Сбоку, вздыхая во сне, ворочался Стас.

Мы часто играли в войну на старом паровозном кладбище. Забирались в груды металлолома и представляли себе, что мы в танке. Пахло окалиной и полынью. Мы кидали ржавые костыли и болванки в паровозные котлы, и те глухо громыхали. Для нас это был артобстрел. Мы сидели в засаде — выжидали, чтобы через несколько минут наши моторы взревели (ревел обычно я) и мы рванулись мощным бронированным потоком вперед. Командовал Стас. У него был ребристый отцовский шлем, от которого пахло гарью и потом. На броне наших «танков» сидели автоматчики, и мы дрались, освобождая Польшу.

У дяди Сережи был друг, Станислав, командир танка, шипящую фамилию которого я не помню. Он был поляк. Во время боев в Померании их танк подбили. У дяди Сережи это был четвертый танк за два года на фронте. Появилось чадящее пламя. Искореженными рычагами дяде Сереже заклинило ноги, он потерял сознание. Я представлял горящий танк и как из люка вываливается Станислав. Комбинезон у него дымится, а опаленные волосы стали рыжими. Он, перегнувшись, с усилием вытягивает дядю Сережу, и они сползают по броне на землю. Станислав обхватывает товарища руками, сбивая языки огня, а потом сам падает и ожесточенно катается по разбитой гусеничными траками земле. Поодаль смятая немецкая пушка. Станислав подхватывает дядю Сережу под мышки и оттаскивает от нелепо

застывших фигур немецких артиллеристов. Вдруг один из них поднимает окровавленную голову. Лицо его залеплено землей и перекошено от боли и ненависти. Немец шарит под собой рукой. Станислав поднимает руку с пистолетом; навстречу летит, кувыркаясь, похожая на веретено с мотком пряжи, немецкая граната. Хлопает выстрел, и немец вновь утыкается в развороченную землю. Станислав с мучительной гримасой смотрит на упавшую поблизости гранату и ничком падает на друга, плотно вдавливая его в грязь. Замеревшей спиной чувствует взрыв. Осколки густо вспарывают обгоревший комбинезон...

Отец Стаса рассказал нам это, когда мы оканчивали первый класс. На подоконнике, в банке с водой, расцвел багульник. Дядя Сережа сидел у окна и рассказывал. Медали у него на груди излучали солнечные зайчики и мелодично звенели. Иногда он брал в руки гитару, едва касаясь, пощипывал струны. В открытую форточку проникал запах свежей земли. Этот запах смешивался со сладковатым ароматом оттаявших весенних лиственниц, росших во дворе. Где-то далеко в парке, среди свежесвыбеленных тополей, играл духовой оркестр. Городок праздновал День Победы.

Дядя Сережа тихо пел. Все песни были нам незнакомые, мы никогда их не слышали. Много позже, когда мы повзрослели, я находил знакомые строчки, читая фронтовые стихи, и вспоминал гитарный перезвон, темные пальцы на грифе, глухой голос дяди Сережи. Он напевал под незамысловатые аккорды, вернее, читал нараспев:

Я пил за тебя под Одессой в землянке,  
В Констанце под черной румынской водой,  
Под Вязьмой на синем ночном полустанке,  
В Мурманске под белой Полярной звездой...

Было торжественно тихо. На кухне всхлипнула тетя Варя. И мы впервые сидели со взрослыми за одним столом.

...Судно мелко задрожало, затряслось и накренилось вправо. Кашалот вынырнул. Разворачиваясь, дали полный. Кресло подо мной скрипнуло, и я тоже развернулся вправо. Потом встал. Я держал радиogramму в руке и не знал, что делать. Подумав, положил ее на стол под вахтенный журнал и вышел из рубки. Прошел в штурманскую, включил коммутатор трансляции и, взяв микрофон, вызвал к себе именинника. От него пахло камбузом, и я машинально отме-

тил, что уже обед. Протянул радиogramмы. Он поблагодарил, развернулся и пошел, читая на ходу и улыбаясь. Я спохватился:

— Валентин!

— Да?..

— Поздравляю!

— Спасибо.

Поднялся на верхний мостик. Наверно, я снова вспотел, и третий штурман сказал: «Ты что, как курица?..» Я смахнул пот со лба и вытер ладони о шорты. Я все еще боялся поднять голову и посмотреть вперед. Там, на баке, был Стас.

Он стоял у пушки и смотрел из-под ладони прямо по курсу на периодически появляющийся фонтан. Фонтан был похож на постепенно увеличивающийся одуванчик, каждый раз новый, существующий какие-то пять-шесть секунд. Вот уже стали видны плавник и спина вышедшего из воды кашалота. Вот опять белесый фонтан; Стас поднял руку и склонился над микрофоном, который я ему прикрепил к пушке:

— Командир, сбавь на пару зубчиков.

Капитан щелкнул реверсами. Потом еще раз.

Я спросил третьего:

— Так ни разу и не подпустил?

— Нет. Без линия зарядили, с гранатой. Стас решил напугать его. Метров на сто подпустил бы хоть...

Кашалот был крупный, с тугой и широкой спиной, которая блестела на солнце, когда он выныривал. Вот он вновь вышел. Очередная порция воды рассыпалась в воздухе на миллионы капелек. До него было с кабельтов. Похоже, что это его последний выход. Кит как-то подобрался, замер на мгновение, а голос Стаса уже прорвался из громкоговорителя на верхнем мостике: «Полный, командир!» Но капитан опередил его: секундой раньше раздалось щелканье. Стас напрягся. Сто пятьдесят метров... Сто сорок... Кашалот пластично выгнулся и пошел головой в воду. Он уходил по дуге, красиво и медленно, словно нехотя. Сто двадцать метров... На прощанье он резко вскинул хвост вверх. Широкая «махалка» хвоста была похожа на хвосты русалок, которые вытатуированы у нашего повара на плечах. Хвост завис. Кашалот уходил уже колом. «Бах!» Облако голубого дыма взбилось над пушкой; едко и приторно пахло порохом. Кашалот мощно повел навстречу нам «махалкой», сообщая себе последний толчок. Гарпун и хвост

стремительно сближались. Когда казалось, что они уже не встретятся, гарпун вырвал кусок «махалки» и, одновременно с исчезнувшим хвостом, упал немного впереди в воду.

Как взорвалась граната, не было слышно. Наверно, она взорвалась с опозданием. Кашалот вынырнул минут через пять рядом с нами, слева по борту. Круто положив руль, дали полный. Пушку уже перезарядили и Стас, ткнув ногой стопор, немного развернул ее. Потом он расслабился и стал смотреть на фонтан.

Кашалот на удивление спокойно подпустил нас на выстрел, потом еще ближе, и еще. Мы видели, как он огромной сигарой плывет под водой. Затем вода вскипала и на поверхности показывалась огромная голова, похожая на рубку подлодки; следом прорезал воду оплывший салом спинной плавник и появлялись тугие, темно-коричневые на солнце, бока. Ближе к хвосту кожа была в мелкой ряби и походила на гофрированную жесть после дождя. На позвоночнике, протянувшись к хвосту, торчали треугольные наросты. Мы сбавили ход и шли параллельно с ним, чуть отставая. И вот после очередного фонтана Стас застыл, слившись с пушкой. Все затихли.

Звук выстрела напугал кашалота; он рванулся, неуклюже сгорбился, поднимая хвост, но было поздно. Мы видели, как летит гарпун, а за ним стремительно увеличивающейся спиралью тянется линь. Послышался тупой удар входящего в тело гарпуна. Защелкал реверсами капитан, давая задний ход, чтобы линь не намотался на винт: зашумела лебедка, понемногу стравливая линь, который теперь натянулся, как струна, и косо резал гладь океана. По линю было видно, куда идет под водой кашалот.

Ключья порохового дыма редели, сносимые в сторону, и таяли над поверхностью в жарком морском воздухе. По воде расплзлось пятно крови, смешанное с калом.

— Трави! Слабо держать!.. Слабо держать! — кричал Стас лебедчику.

Протяжно стонали блоки. Линь бешено неся по ним, уходит в воду.

На баке суетились боцман с помощником гарпунера. Они заряжали в пушку «добойный» гарпун с гранатой и коротким линем. Стас, весь замерев и прищурившись, смотрел из-под руки влево — на линь, с шуршаньем резавший воду, а там, на воде, засветлело белесое пятно и марсовый с бочки закричал в микрофон:

— Выходит! Выходит! Градусов двадцать слева...

Линь ослаб, провис и почти весь скрылся под водой, а на месте светло-зеленого пятна тяжело, с хрипом вырвался кровавый фонтан, и вода там стала кровавой, а кашалот шумно вышел и, пыхтя, заворочался, непрерывно фонтаня и окрашивая все большую площадь кровью. Он кувыркался и бил хвостом по воде, взбивая розовую пену. Океан кипел вокруг него, как варенье. Была видна обильно сочащаяся рана. Гарпун вошел в бок полностью.

Лебедка непрерывно работала, вытравливая слабинку линя. Кашалот слабел. Он погружался в воду, пытаясь нырнуть, но линь не давал, туго вздрагивал, и с него на палубу сыпались капли воды, а гарпун своими лапами рвал внутренности...

Над кашалотом кричали и кружились чайки. То одна, то другая падала в воду, выхватывая сгустки крови, похожие на сухие крошки листовенничной коры.

Добивать кашалота Стас разрешил помощнику. Животное подвели почти к борту, линь ослабили. Кашалот больше не рвался в глубину — он устал, да и боль от крепко засевшего гарпуна держала его наверху. Он осторожно, рывками, шел в десятке метров от нас и по-прежнему слева; за ним, расширяясь и розовея, тянулась кровавая полоса.

Помощник был маленького роста а стрелять нужно было почти сверху вниз. Он бросил себе под рыбинс деревянную решетку, встал на нее, как-то странно, от живота, прицелился, сморщился и нажал крючок.

Стас давно ждал выстрела: он смотрел на кашалота, ладонями зажав уши. Звук выстрела слился с ударом гарпуна о тело кашалота, и тот судорожно взвился; линь зазвенел, а потом донесся приглушенный, как из-под земли, взрыв гранаты. Кашалот провалился хвостом в глубину, встал, как поплавок, повернувшись, словно осматривая все окрест, вновь выправился и замер на боку — он был мертв. Завизжали лебедки, подтягивая его к борту, чтобы обработать и «поставить на флаг».

— ...Ты что не готовишь радиобуй?

Я посмотрел на капитана и замялся: что же ему сказать? Наверно, по моему виду он понял, что случилось что-то серьезное, смотрел на меня тревожно и выжидающе.

— У Стаса умер отец...

— Что? Что? — переспросил рулевой, а третий штурман глухо повторил ему:



— У Сергеевича отец умер...

Капитан взял микрофон коротковолновой станции, вызвал базу и сказал, что у нас еще один и что он пойдет подбирать первого, потому просит добро на сдачу, и добавил, что потом все объяснит. Затем взял другой микрофон, и над палубой раздалось:

— Берем под борт.

Стас сделал удивленное лицо, но ничего не сказал. Коротко отдавая команды, он следил, как завели на кашалота хвостовик, предварительно накачав тушу воздухом, как подтянули его к правому борту, как закрепили, лязгнув заржавевшими цепями.

Потом двинулся к нам по переходному мостику. Видно было, что он хочет узнать, что, мол, они там на базе, зачем идти на сдачу, если есть еще работа; еще нужно взять хотя бы пару, а уж после думать о сдаче... Но капитан ничего не объяснял и даже не смотрел в его сторону. Это еще сильнее злило Стаса, но он шел спокойно и не кричал, не ругал начальство. Он никогда не ругался во время охоты, хотя по его виду всегда можно было понять, чего он хочет и о чем думает. Он никогда не умел притворяться...

Прошлой осенью, придя с промысла, мы с ним вырвались на неделю домой. Стоял конец октября. Последнюю ночь в поезде не спали. Вагон был почти пустой. Мы курили, смотрели в темный квадрат окна, где рябиновыми гроздьями мелькали паровозные искры. В тамбуре хлопали двери, жужжал пылесос: проводница жестко шаркала ковровые дорожки. Искры исчезли, и Стас открыл окно. Свежий холодный воздух плотно сдавил лицо, в носу запершило от паровозной гари, смешанной с запахом сухого березняка.

Стас сдавленно вздохнул. За плечами была долгая пурга.

К утру пошел снег. Он падал в тишине. Поезд стоял на пустынном разъезде. Пятна света выхватывали сухой, по-немногу белеющий лес. Гудок локомотива завис в снежной пелене. Поехали.

Это был первый снег в том году, и день спустя мы пошли тропить зайцев. Снег был неглубокий, словно еще ждущий яркого солнца, чтобы растаять. Он пронзительно скрипел у нас под ногами. Мы были в тяжелых, грубых ботинках. Дядя Сережа временами оглядывался на нас, пряча улыбку. Казалось, целую вечность мы не ходили по лесу.

Да, собственно, так и было. От нас за милю несло охотничьим магазином.

Взошло солнце. Окраинные дома отчаянно засверкали разноцветными ставнями. Бревенчатые стены, все в красно-ватых жилах застывшей смолы, потеплели. Они ласково встречали взгляд, отведенный от нестерпимо белого снега. Стояла тишина. Печной дым отвесно тянулся в вышину.

Войдя в лес, не спеша двинулись по заброшенной дороге в сопки, на старые солонцы.

К вечеру, убив с полдесятка рябчиков, брели вдоль еще не совсем замерзшего ключа, который вскоре должна была пересечь железная дорога. Временами наплывал гул проходящих составов. Возвращаться обратно по лесу не хотелось: ноги в тяжелых ботинках устали и промокли, после моря было еще тяжело. Дядя Сережа посмеивался.

Появился морозец. Ключ, замерзая, парился. Перед самой дорогой вошли в мелкий осинник и увидели впереди небольшой бетонный мост и насыпь. Прибавили шагу. Вдруг серый камень, лежавший среди ерника на берегу ключа, резко подлетел вверх и помчался длинными скачками по берегу. Это был заяц. Стас сорвал с плеча двустволку и стал целиться.

Заяц не успел до конца полинять. Ранний снег застал его врасплох. Этот снег его сейчас предательски раскрывал. Заяц выглядел непристойно грязным на белом снегу. Он рванулся было вправо в осинник, но в той стороне яростно проревел паровоз. Заяц заметался, запетлял.

Стас выстрелил. Картечь звонко зацокала, срезая мерзлые ветки осин. Заяц стремглав кинулся к мосту, на мгновение слился с обледенелым серым бетоном, мелькнул снова и исчез под мостом.

Я взглянул на Стаса. Он и не думал стрелять второй раз; старательно рассматривал ружье, но было ясно, что ружье здесь ни при чем. И дядя Сережа шутливо сказал: «Эх, ты, это тебе не по китам стрелять!» Лязг и грохот налетевшего на мост состава заглушили ответ Стаса: он виновато улыбнулся и прокричал сквозь ухающий шум: «Пусть живет!..»

Сухие метелки полыни торчали из-под снега по откосам насыпи. Я набрал в рот снегу. Он чуть-чуть горчил. Мы взобрались на насыпь и пошли по промерзшим шпалам, навстречу заходящему солнцу.

Я шел и думал о предстоящей зиме и о сильном примор-

ском ветре, который прошивает тебя насквозь. И сразу ощутил колючий и плотный снег, обжигающий щеки, тепло пустых перед обедом кафе, когда пахнет пельменями, а снежная круговерть за окном напоминает почему-то рассказ Пушкина «Метель». Быть может, оттого, что мы родились здесь, где никогда не бывает метели, где в трескучие морозные вечера дым из печных труб поднимается высоко в небо, а струи прямые-прямые, а в самом верху огненно-красные и матово светятся, похожие на игрушечные сосульки с новогодней елки, и ты смотришь на них и чувствуешь солнце, которое только что зарылось в гряде западных сопок; вокруг скрип шагов, — на дощатом виадуке снег всегда мелодично скрипит, — а смотреть на вечерний город лучше с виадука над железнодорожной станцией, слушать паровозные гудки, стук вагонных колес, видеть заиндевелые составы со снегом на крышах и думать о далеком, ненадолго забытом море, о тех днях, когда тебе захочется чего-нибудь земного и ты, зажмурившись, станешь вслушиваться в шум океана, возвращая себя к действительности, а потом долго не открывать глаза...

Острая радость жизни наполнила весь этот день. Жизнь казалась полной и бесконечной, счастливой и удивительной. Эту радость приятно было осознавать после длинных месяцев в море, после долгой и непрерывной, без выходных, работы, которой ты посвятил жизнь и почти половину ее уже прожил. Чувство хорошо сработанного дела овладело мной. К черту разговоры о прошедшем и неувиженном — ради нескольких таких дней стоит жить и работать!

Сизые сумерки обволакивали станцию. Звездным светом мерцали зеленые, синие, красные огни семафоров. Над хлопающими дверьми нового вокзала поднимались клубы пара.

В буфете было шумно и накурено. Время от времени буфетчица отключала насос, качавший пиво из бочки, и беззлобно кричала в зал, скорее для порядка: «А ну перестаньте курить! Дышать нечем. А то не буду отпускать!» Гул на мгновенье стихал. Железнодорожники тыкали папиросами в спичечные коробки, чтобы через минуту опять задымить. Почти все поздоровались с дядей Сережей и с любопытством оглядели нас.

Пиво было холодное, от него мы еще сильнее замерзли. Стас пошел к стойке. Я смотрел на картину местного художника, висевшую в буфете с времен нашего детства... Нат

полотне заснеженная река плавно изгибалась среди запорошенных ив. По едва заметной колее двигался воз с сеном. Маленькая мохнатая лошадка бойко перебирала ногами, торопясь засветло в конюшню. Казалось, возчик, шедший сбоку, не успевает за ней.

Я не заметил, как Стас вернулся со стаканами. Пахнуло лекарствами и шоколадом.

— Ничего больше нет, — сказал он. — Болгарский ром. Ром был цвета валерьянки. Луч от далекого прожектора за окном лениво пополз по стеклу, коснулся стола. Грани стаканов засверкали рубиновыми лучиками. Сергей Леонидович зажмурился — он сидел против окна. Сразу стало заметно, как он устал за день. Щеки, заросшие сединой, пересекались морщинами — такими жесткими и глубокими, что становилось ясно: уже ничем на свете их не разгладить.

Стас поднял стакан:

— С полем, отец!

Сергей Леонидович расправил шарф, влажный от растаявшего инея, повел освободившейся шеей и, глубоко вздохнув, улыбнулся:

— Намаялись, китобои?

Пряный ром отдавал пробкой. Он ободрал гортань, и язык стал шершавым. В висках застучало.

Сергей Леонидович задумался. Нетронутый стакан стоял перед ним. Встрепенувшись, он глянул на нас и поднял стакан, посмотрел сквозь него на тусклый свет снега, струившийся через стекло, и тихо произнес:

Мы не от старости умрем —  
От старых ран умрем.  
Так разливай по кружкам ром,  
Трофейный рыжий ром...

...Сжав в кулаке радиограмму, Стас отрешенно смотрел в дверь радиорубки.

Океан сверкал, весь в бликах полуденного солнца. От форштевня со снежным шорохом, шипя ослепительно белой пеной, разбегались две волны. Тихо стрекоча крылышками, вровень с бортами, стаями летели летучие рыбки, наполняя воздух стеклянным звоном. Снизу, с палубы, доносились голоса матросов.

— Как же так... — хрипло повторял Стас, тяжело спускаясь по ступенькам трапа к себе в каюту. — Ну как же так...

...Остаток дня мы не охотились, — подбирали туши китов, которые добыли другие китобойцы. С заходом солнца, заняв клюзы обоих бортов и погрузнев, как баржа, пошли к базе, буксируя лоснящиеся туши и оставляя за кормой широкий светлый след.

Ночью я не спал: подошла очередь дежурить на частоте бедствия. Мы лежали в дрейфе. Было тихо. Лишь временами приемник, словно проснувшись, звонко сыпал морзянкой.

Перед рассветом в рубку вошел Стас. Сел на продавленный диван, сгорбился, сцепив на коленях пальцы рук. Мы долго молчали.

Потом он сказал: «Душно». Я указал глазами на вентилятор. Он отрицательно мотнул головой.

— Нет... Радиограмму передал?

— Днем еще. И о переводе тоже. Уже перевели, — сказал я.

Он снова замолчал. Я пододвинул сигареты к краю стола. Мы закурили.

— Ты знаешь, — сказал Стас, — какая же сука война.

Я ничего не ответил. В таких случаях лучше ничего не говорить. Да я и не знал ничего такого, что мог бы ему сейчас сказать.

— Отец старался никогда не говорить про осколок. Жил и работал, и будто осколка не было. А операцию нужно было давным-давно делать. Но он не хотел. А может, боялся. То я был маленьким, то Женька... А он — «Все нормально» — и работал, работал...

Из каюты старпома донесся запах кофе — он всегда варил его перед вахтой. Стас курил, почти не делая передышек между затяжками.

Снаружи светлело. Наступал день. Где-то далеко, в средней полосе страны, люди еще только шли с работы. А у нас в эти короткие ночи по берегам таежной речки цвел шиповник. Утром выпадала обильная роса, а когда появлялось солнце, она, дымясь, начинала обильно испаряться.

В это время начинали клевать хариусы. Они всегда брали поверху, как только зацвел шиповник. Мы ловили их на красные мушки, искусно сделанные из петушиных перьев. Хариусы выпрыгивали из воды. Острый, мгновенный блеск рыбы заставлял вздрагивать, замирать, проглатывать комок в горле, а потом ждать. От нетерпения ноги сводило судорогой. И снова блеск, и ноги мягко согнуты в коленях, и ле-

са звенит комариным писком, а рыба, рассыпая множество маленьких солнц, падает на сырую гальку...

— Не могу представить его в гробу, — сказал Стас. — Завтра, наверно, похороны...

— Я тоже.

— И вообще, ничего этого не могу представить. Ни заплаканную маму, ни Женьку, ни венки. Заставляю себя — и не могу. А это плохо, как ты думаешь? Мы очерствели, да?..

Этот вопрос исподволь мучил нас всех. Мы чуть ли не каждый день убиваем китов. Морских исполинов, как любят писать в газетах. Каждый день мы убиваем самые крупные живые существа, которые остались на планете. И Стас это делал. Тяжесть свершаемого каждый день висела над нами. Мы жестоки к природе. Все китобои в глубине души терзаются от этого...

Раздалось стрекотанье морзянки — в нескольких стах километров работала береговая радиостанция. Я записал в журнал время и позывной.

— ...Ну, что молчишь?

— Это не черствость, Стас. Мы моряки. И сейчас мы в море.

...Я вспомнил, как хоронят у нас дома машинистов. Длинная, черная от железнодорожных тужурок, колонна. Впереди деповское знамя. Сосредоточенные, смотрящие прямо музыканты духового оркестра. Обнаженные, сплошь седые головы в первых рядах. Скребущие звуки медных тарелок. Колонна медленно поднимается в сопки — там заросшее, терпко пахнущее багульником кладбище. Солнце жгуче светит. Блестят трубы оркестрантов. Блестят пуговицы на тужурках. Блестят ордена на алой подушечке... И в это время, сначала тихо и печально, потом все громче и громче раздается паровозный гудок. Его подхватывает другой паровоз, потом третий... Под сердцем холодеет. Где-то на перроне пассажиры перестают суетиться. Они негромко переговариваются с осмотрщиками вагонов. Немного погодя поезд трогается. Паровоз осторожно набирает скорость, плавно проскальзывает по мосту над рекой и прежде, чем исчезнуть в скалистой выемке, долго и протяжно кричит...

— Ты на вахте? — спросил Стас.

Я взглянул на часы.

— Уже сдаю.

Я вызвал по радио следующий по очереди китобоец и

сдал дежурство. Доложил на базу. заполнил журнал. Хотел выключить приемник, но, подумав, переключил его на телефонный режим, зашарил по диапазонам. Японская, английская, малайская речь вперемежку с музыкой и помехами наполнили радиорубку. А вот и «Маяк». Женский голос, приглушенный дальностью, сказал, что сейчас прозвучит мелодия из болгарского кинофильма «Что может быть лучше плохой погоды?»

— Ты смотрел этот фильм?

— Нет.

— И я нет. Какое странное название... — сказал Стас.

Издали прорвались первые аккорды. И они превратились в капли только что прошедшего дождя, когда уже поздняя осень и подрезанные весной ветки деревьев в городских скверах подросли и роняют последние листья, влажные и тяжелые на вид, и они падают прямо, почти не вращаясь. На аллеях курятся прибитые дождем костры из палой листвы. Кора на старых липах с наветренной стороны потемнела от дождя. Пахнет дымом и арбузными корками. Порывы ветра вытягивают ветви кленов вслед уходящей туче; старые тополи тихонько поскрипывают...

Мы оба думали об одном и том же — об осени, когда вернемся во Владивосток. О густом тумане утром, который потом спадет и мы увидим берега бухты Тихой, услышим оркестр. Будет холодный, почти не ощутимый запах хризантем, редкий дождь, шахматные клетки на машинах и клетчатые женские длинные пальто с неожиданными, притягивающими взгляд, разрезами. В оконных стеклах, в витринах магазинов, аптек, парикмахерских, в лужах дождя на асфальте, везде — размытые, цветные отражения зонтиков, косынок, плащей. Под зонтами мягкие волосы в капельках не то дождя, не то тумана. Пахнет знакомыми духами. Название духов назойливо вертится в голове. Мокрые глаза, в которые ты смотришь в упор. Все женщины красивы и счастливы...

— ...Этой осенью он собирался наконец-то приехать во Владивосток. Встретить нас.

— Помнишь, Стас, он пел «Бригантину»?

— Ну?..

— Я записал его тогда на пленку.

Я вынул из целлофана маленькую кассету, которая долго хранилась у меня в столе. Я берег ее до сентября — мы родились со Стасом в сентябре. Выключил приемник и включил магнитофон. Раздался шорох, шум вагонной суеты, звонкий

смех Женьки, потом гитарный перебор и голос Стаса: «Спой «Бригантину», батя».

Стас сжал кулаки, закрыл глаза. Было видно, как он осунулся за ночь.

Я вышел из рубки.

Уже совсем рассвело. Вот-вот взойдет солнце. Духота спала, но это ненадолго. Платиновая гладь океана коробилась небольшой зыбью. Вода у бортов изредка хлюпала. Палуба была теплая. Черная смола, которой залиты щели, покрылась упругой пленкой.

Я остановился у иллюминатора и стал слушать, как взволнованно и старательно пел Сергей Леонидович: в купе мы были не одни.

Мы тогда замерзли на перроне, ожидая поезда. И когда он подошел, юркнули в вишневый вагон «России», где было тепло и светло. В нашем купе сидели два лейтенанта. Мы поставили вещи, и тут Стас заметил гитару и попросил отца спеть, пока поезд еще стоит. Сергей Леонидович, спросив разрешения у лейтенантов, взял гитару, подышал на замерзшие пальцы и запел. Он пел азартно, как мальчишка. Он резко дергал в такт музыке коротко остриженной седой головой и даже подмигнул проводнице. Лейтенанты улыбались и открывали бутылку с вином.

...И в беде, и в радости, и в горе  
Только чуточку прищурь глаза.  
В флибустьерском дальнем синем море  
Бригантина поднимает паруса...

...Я тоже никак не могу представить дядю Сережу в гробу. Это нужно видеть. И в этом, пожалуй, наше — моряков — преимущество: мертвые в нашей памяти остаются живыми...

Глухо заворчали дизели, китобоец содрогнулся. Мы снимались с дрейфа в поиск. Небо на востоке было красным, выше розовело, желтело, далеко на западе становилось зелено-жемчужным. Оно отражалось в воде, и океан словно был покрыт влажной акварелью.

Я не заметил, как подошел Стас. Мы стояли и ждали солнца. Вот оно вынырнуло из воды — свежее и выкупанное, готовое жечь нас весь день. Стас как-то сказал, что самое красивое, что он видел в жизни, — это восходы и заходы солнца в районе Курильской гряды.

Вот в такое же утро началась война, подумал я. Какое



же сердце нужно было иметь почтальонам в войну? Каждый раз разносить похоронки и вручать их своим товарищам, односельчанам, родственникам...

— Придем на базу — сразу поеду домой, — сказал Стас. — А ты?

Я ткнул его в плечо:

— Конечно.

Впереди были еще месяцы напряженной работы — почти сто пятьдесят дней. Жизнь продолжалась. И она ожидала нас каждое утро рассветами — то солнечными и тихими, то хмурыми и дождливыми, то снежными и холодными. Был океан — великий, загадочный, любимый, и такой же красивый, как жизнь. А потом тот последний за путину рассвет, когда Курилы уже за спиной. И светлые коробки домов в желтеющем тумане, и винный запах поздней осени, и лишь воспоминания об изнурительном тайфуне, у которого школьное имя Агнесса — так звали нашу первую учительницу. И комок в горле, и счастье... Если бы вы знали — какое это счастье!..